VII. Эссе

Леонид Люкс

Россия и Германия в XIX и XX веке: два особых пути*

XX столетие, окончившееся в Европе победоносным шествием либерально-демократических идей, начиналось с бунта против плюралистически устроенных обществ и отстаиваемых ими ценностей. В своем радикализме бунт этот превзошел все предшествующие волнения подобного рода. Германия и Россия образовали центр этого восстания против ценностей, которые принято ассоциировать с Западом. Конечно, необходимо иметь в виду, что этот бунт в Германии, с одной стороны, и в России с другой вдохновлялся диаметрально противоположными идеями.

Несмотря на то, что Германия была частью западного мира, радикальная критика многих конститутивных для этого мира ценностей являлась традиционным элементом немецкой культурной истории. Иначе дело обстояло в России. Здесь отталкивание от Запада вдохновлялось западными же идеями, прежде всего идеями 1789 года. В 1917 казалось, что России суждено стать новым прибежищем идеалов 1789 года, которые якобы предала западная буржуазия. Почему Германия и Россия оказались особенно восприимчивыми к тоталитарным искушениям, хотя и с разными знаками? Возможно, это было связано с особенно глубоко укорененной тоской в обеих странах по преодолению внутреннего раскола – в Германии национального, в России социального.

Эйфория, настигшая Германию ко времени германских войн за объединение и прежде всего во время германо-французской войны 1870/71 гг., представляла собой своего рода революцию – вместо неудавшейся революции 1848/49 гг., не решившей национального вопроса. Объединение Германии, воспринимавшееся многими немцами как своего рода завершение национальной истории, было связано с эйфорическими ожиданиями. Некоторые даже спрашивали себя, почему именно их поколение заслужило честь быть свидетелем эпохальных изменений. Историк Генрих фон Сюбелль в письме своему коллеге Герману Баумгартену от 27 января 1871 г. точно выразил это состояние: «Чем мы заслужили милость божью переживать столь великие грандиозные события? Как же нам жить после

* Расширенная версия доклада, прочитанного 2-го июля 2015 г. в Мюнхене в рамках конференции «Zukunft gestalten im Dialog: Deutschland– Russland».

этого? То, что 20 лет было содержанием всех желаний и стремлений, теперь сбылось бесконечно великолепным образом! Как же теперь жить дальше, где в мои годы найти новый смысл, необходимый для продолжения жизни?»[1].

Однако история, в противоположность тезису американского политолога Фрэнсиса Фукуямы, не имеет конца – она продолжается. Эйфория в Германии очень быстро пошла на убыль, так как ожидавшееся национальное примирение, несмотря на беспримерные внешнеполитические успехи Бисмарка, так и не состоялось. Пыл 1870/71 гг. быстро остыл. Нация осталась внутренне расколотой и сотрясаемой религиозными, территориальными и социальными проблемами, до того момента, когда идеи лета 1914 г. спаяли нацию, не знавшую «больше никаких партий», также, как и в 1870/71 гг., казалось, в монолит. Военное вдохновение лета 1914 г. представляло собой, конечно же, общеевропейский феномен, но только в Германии оно стало новым этапом в процессе построения нации. Для борцов за «органическое» единство нации этот процесс, однако, шел не так далеко, как им хотелось. То, что «непобедимая на поле боя» армия в конце концов все-таки проиграла эту войну, многие объясняли слабостью на внутреннем фронте. Теперь борьба за органическое единство нации, за искоренение всего чужеродного, стоявшего на пути этого процесса, начала принимать все более несуразный характер и потеряла всякую связь с реальностью. Только в этой атмосфере[2] могла быть осуществлена все упрощающая «программа» расовых антисемитов, определявших евреев истинными виновниками всех бед немцев. Захват власти Гитлером, который был напрямую связан с исключением евреев из общественной жизни Германии, рассматривался многими немцами своего рода продолжением начатого в 1864-1871 гг. и обновленного в 1914 г. процесса объединения, своего рода революцией. Это упоение объединением особенно наглядно описано в биографии Гитлера Иоахима Феста[3].

Что касается России, то она пережила похожую эйфорию не в 1914, а в 1917 г. Война в России не была связана, не считая тонкого слоя образованных людей, с ожиданиями блага и спасения, это наступило только с революцией 1917 г. Обожествление революции имеет в России длинную предысторию. Воплощением этого обожествления была в первую очередь русская интеллигенция – феномен, у которого на Западе, как справедливо подчеркивает кёльнский историк Теодор Шидер, не было эквивалента[4]. Мышление интеллигенции носило манихейские черты. Зло символизировало для них царское самодержавие, добро – простой русский народ, и они исходили из того, как указывает российский философ Семен Франк, что механическое устранение зла автоматически приведет к победе

[1] Цит. по: Gall L. Bismarck. Der weiße Revolutionär. Frankfurt/Main, 1980. P. 467.
[2] См. Rauschning H. The Conservative Revolution. N.Y., 1941. P. 262-263.
[3] Fest J.C. Hitler: Eine Biographie. Frankfurt/Main, 1979. P. 513-570.
[4] Schieder Th. Das Problem der Revolution im 19. Jahrhundert // idem. Staat und Gesellschaft im Wandel unserer Zeit: Studien zur Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. München, 1970. P. 42-44.

добра[5]. Бескомпромиссная революционная деятельность интеллигенции привела к тому, что она не придавала значения глубоким метафизическим вопросам, так как занятие ими отвлекало, якобы, от борьбы за освобождение народа, добавляет Николай Бердяев. Чистый материализм и атеизм являлись единственным интеллектуальным багажом интеллигенции[6].

Лишь «идеалистический поворот», захвативший к началу 20-го века часть русской интеллигенции, привел к постепенному отказу от обожествления революции. Однако эта смена парадигм наступила слишком поздно, так как хилиастические мечтания интеллигенции, ее вера в исцелительную силу революции уже заразили простой народ, до этого еще укорененный в допетровском мироощущении. Для народных слоев на протяжении поколений государство воплощал православный царь. Будучи солдатами, они боролись за Веру, Царя и Отечество. Русский историк Георгий Федотов указал в связи с этим на то, что понятию Отечество в этой триаде не случайно отводилось последнее место[7]. Идея современного национального государства, считавшегося независимо от религиозных коннотаций вершиной создания, к началу 20-го века проникла лишь в часть образованного слоя России. Низшие слои российского общества, правда, и пережили процесс модернизации, приведший на рубеже веков к ослаблению их привязанности к церкви и царю; но они так и не нашли привязки к современной идее национального государства. Они находились в подвешенном состоянии между прошлым и будущим, и этот мировоззренческий вакуум все сильнее заполнялся идеей революции. Вера в революцию представляла собой замену тогдашней в значительной мере опустошенной веры в православного царя. Таким образом революционная интеллигенция выиграла свою длящуюся десятилетиями конкурентную борьбу с царской бюрократией за «душу» народа.

Интеллигенция «просветила» народ, чьи традиционные представления были поколеблены, писал в 1908 г. русский философ Сергей Булгаков. Эта «победа», однако, будет иметь для России трагические последствия, продолжал Булгаков[8]. При этом необходимо добавить, что современные революционные учения, с помощью которых интеллигенция пыталась «просветить» народ, смешивались с традиционными идеалами справедливости низших слоев российского общества, носящих ярко выраженный эгалитарный характер. «Из всех форм справедливости равенство для русских – на первом месте» – говорил Георгий Федотов[9].

После падения царской монархии в 1917 г. эгалитарная эйфория, овладевшая российским населением, приняла стихийные масштабы и направилась против иерархического принципа как такового, являющегося для каждого государства

[5] Франк С. Этика нигилизма // Вехи: сборник статей о русской интеллигенции. М., 1909. С. 175-210.
[6] Бердяев Н. Философская истина и интеллигентская правда // Вехи. С. 1-22.
[7] Федотов Г. Революция идет // Современные Записки. 1929. № 39. С. 306-359.
[8] Булгаков С. Два града. М., 1911. Т. 2. С. 159-163.
[9] Федотов Г. Народ и власть // Вестник РСХД. 1969. № 94. С. 89.

основополагающим принципом построения. Все политические партии России пытались сдержать этот эгалитаристский восторг, грозивший смести всю цивилизаторскую «надстройку» страны, – но только не большевики. Ленин разжигал и дальше стремление к освобождению от всех форм неравенства, созданию «органического», единого социального организма и к уничтожению «буржуазного государства». Ибо он знал, что только на этих руинах могло быть построено воображаемое им «партийное государство нового типа». Для достижения этой цели он даже был готов объединиться с непросвещенными массами.

Участник событий 1917 года Федор Степун пишет: в 1917 г. Ленин понял, что в определенных ситуациях лидер должен поддаваться воле масс, чтобы победить. Несмотря на то, что Ленин был «человеком громадной воли, он послушно шел на поводу у массы, на поводу у ее самых темных инстинктов»[10]. Однако этот союз Ленина с анархичными массами представлял собой лишь краткосрочное явление. Сразу после победы большевистской революции «партия нового типа» стремилась деполитизировать своих «союзников» и превратить их в винтики тоталитарного механизма. Так как опьянение свободой 1917 г. еще очень долго действовало на россиян, при попытке приспособить строптивую российскую действительность к марксистской утопии большевики натолкнулись на существенное сопротивление. Партия ответила террором, которому суждено было стать с краткими перерывами до 1953 г. (до смерти Сталина) одной из важнейших основ нового режима.

Но вернемся к Германии. Борьба с либеральными ценностями, точнее говоря, с демократическим парламентаризмом обострилась здесь после поражения якобы «не побежденной на поле боя» нации в Первой Мировой войне до предела. Суровость Версальского договора, по своему характеру, кстати, не слишком сильно отличавшегося от заключенного немцами победоносного мира на востоке в марте 1918 года (Брест-Литовский мир), поборники национального реванша считали вполне достаточным основанием для того, чтобы смести существующий европейский уклад. Оскорбленное национальное самолюбие стало господствующим мотивом их образа мыслей, определяло их тактику; соображения касательно общеевропейского и христианского наследия уже не играли никакой роли. «Мы – притесняемый народ», – писал в 1923 один из провозвестников так называемой Консервативной революции Меллер ван ден Брук: «Скудная территория, на которую нас оттеснили, таит в себе огромную опасность, от нас исходящую. Не следует ли нам строить нашу политику на основе этой опасности?»[11].

Заимствованный у Запада либерализм был провозглашен сторонниками Консервативной революции и других националистических группировок смертельным врагом немцев. Для Меллера ван ден Брука либерализм был «моральным за-

[10] Степун Ф. Сочинения. М., 2000. С. 342.
[11] Moeller van den Bruck A. Das dritte Reich. Hamburg, 1931. P. 71-72.

болеванием нации», свободой от каких бы то ни было убеждений, выдаваемой за убеждения[12].

Характерная для консервативных революционеров псевдоэтическая установка проявляется здесь особенно отчетливо. Те, кто из-за допущенной в Версале несправедливости были готовы разрушить весь европейский порядок, кто готов был надсмехаться над гуманизмом, не задумываясь бросали либерализму упрек в равнодушии к морали. Неудивительно, что этот морализаторский имморализм, заранее отпускавший грехи своим единомышленникам, но изображавший своих противников неисправимыми преступниками, многим казался весьма заманчивым.

Утверждение либеральной системы в Германии представлялось немецким критикам Запада следствием коварных интриг западных демократий. Запад обладает иммунитетом против либерального яда, он не принимает всерьез либеральные принципы, утверждал Меллер ван ден Брук. Напротив, в Германии либерализм был воспринят буквально. Поэтому его разлагающие принципы сумели привести страну к гибели. Западные государства, неспособные одолеть немцев на поле брани, пытаются сделать это путем революционной и либерально-пацифистской пропаганды. И наивные немцы позволили отравить себя этим ядом[13].

Жалость сторонников Консервативной революции к самим себе была столь же безгранична, как и их мания величия. Получалось, что единственным средством, способным облегчить страдания немцев, было мировое господство. Меллер ван ден Брук разъяснял: «Власть над миром – единственная предоставленная народу перенаселенной страны возможность выжить. Наперекор всем препятствиям порыв людей в нашей перенаселенной стране направлен туда же, его цель – пространство, которое нам необходимо»[14].

Парламентская демократия представлялась ее немецкими критикам как «лишенная рыцарских начал». Ноябрьская революция 1918 года не была в состоянии защитить страну от внешнего врага. Поэтому от нее отвернулись солдаты, пишет Эрнст Юнгер. Эта революция, по мнению Юнгера, отвергла такие понятия, как «мужество, честь, отвага»[15]. Освальд Шпенглер в свою очередь говорит о «неописуемой мерзости ноябрьских дней»: «Ни одного властного взгляда, ничего вдохновляющего, ни одного значительного лица, запоминающегося слова, дерзкого преступления»[16].

Поборники Консервативной революции в своей критике парламентской демократии и либерализма основывались на традиционно консервативных представлениях и клеймили либерализм как жизнеразрушающую силу. Он якобы разрушает органические связи в обществе и разжигает низменные, эгоистические ин-

[12] Moeller van den Bruck A. Das dritte Reich. Hamburg, 1931. P. 69-71.
[13] Ibid.
[14] Ibid. P. 63, 71-72.
[15] Bastian K.-F. Das Politische bei Ernst Jünger (Diss.). Heidelberg, 1963. P. 66.
[16] Spengler O. Preußentum und Sozialismus. München, 1920. P. 11.

стинкты. Не служение общему делу, а собственным интересам – вот к чему зовет либерализм. Правовед Карл Шмитт вообще отказывался признать Веймарскую республику государством. В ней, утверждал Шмитт, отдельные сегменты общества (партии, объединения и т.п.) захватили власть, которую используют исключительно в собственных интересах. Государство как олицетворение общенациональных задач упразднено. Главной и неустранимой слабостью так называемого законодательного государства эти критики считали мнимую неспособность такого государства принимать решения, справляться с реальной опасностью. В законодательном государстве властвуют не люди, не правители, а буква закона, сетовал Карл Шмитт. Исходное понятие господства, согласно Шмитту, стало недействительным, подменено абстрактными нормами[17]. Последователь Шмитта Эрнст Форстхофф вторил учителю: честь и достоинство – личные понятия; правовое государство, которое сводит на нет все личное, лишено достоинства и чести[18]. Так зародилась в кругах консервативных революционеров тоска по настоящему властителю, по «цезарю». Харизматический вождь, чье появление предсказывали крупные европейские мыслители на рубеже XIX-XX в., одни с беспокойством, другие – с надеждой, должен был сбросить власть безликих учреждений, заменив ее диктатом персонифицированной воли.

Грезы консервативных революционеров о национальной диктатуре, об упразднении либерального государства «без чести и достоинства», о Германии, готовой к войне, грезящей о безграничной экспансии, вплоть до господства над миром, их тоска по сильной руке, по завершающей историю «третьей империи» закономерно должны были воплотиться в фактически установленный 30 января 1933 года Третий рейх. Победы НСДАП на выборах в парламент в начале 30-х годов вызвали ликование у большинства консервативных революционеров. К немногочисленным скептикам относились Эрнст Никиш вместе со своей группой «Сопротивление» и Эвальд фон Клейст-Шменцин. В элитарных кругах Консервативной революции иронизировали над плебейским характером национал-социалистического движения, да и косо посматривали на попытку Гитлера захватить власть не революционными, а легальными парламентскими средствами; но это были малосущественные детали. В глазах большинства радикальных критиков веймарской демократии, принадлежавших консервативно-революционному либо правому лагерю, взлет НСДАП означал конец ненавистной им либеральной эпохи и начало национального возрождения. Вот почему в первое время после образования Третьего рейха они относились к новому государству – не без основания – как к собственному детищу. Но это была история с учеником чародея. Лишь постепенно им стало ясно, каких демонов они растревожили. Утрата иллюзий приняла весьма широкие масштабы[19].

---

[17] Schmitt C. Legalität und Legitimität. München, Leipzig, 1932; idem. Der Hüter der Verfassung. Tübingen, 1931; idem. Der Begriff des Politischen. 4. erw. Aufl. Berlin, 1963.
[18] Forsthoff E. Der totale Staat. Hamburg, 1933. P. 13.
[19] Kuhn H. Das geistige Gesicht der Weimarer Zeit // Zeitschrift für Politik. 1961. Vol. 8. P. 4.

Национал-социалистический режим достиг вершины своей радикальности незадолго до своего краха. Почитатель Рихарда Вагнера Гитлер пытался инсценировать гибель Третьего рейха как «сумерки богов». Гитлер считал себя и «новый порядок» апогеем немецкой истории. С его смертью должна была завершиться и немецкая история. В марте 1945 года Гитлер заявил в беседе с министром вооружений Шпеером: «Если будет проиграна война, исчезнет и немецкий народ. Нет необходимости сохранять основы, которые нужны немецкому народу для продолжения примитивного существования. Напротив, лучше уничтожить сами эти основы. Ибо народ проявил свою слабость и будущее исключительно принадлежит более сильному восточному народу. Все, что останется после этой битвы, и без того неполноценно, ибо все наиболее ценные представители нации погибли на фронте»[20]. Так крах немецкого особого пути, сопротивления западным идеям открытого общества, правового государства и суверенности человеческой личности ознаменовался беспримерным саморазрушением.

Можно назвать своего рода парадоксом тот факт, что самая стабильная в истории Германии демократия была создана после величайшей катастрофы в истории страны. Однако оба эти явления тесно связаны друг с другом. Так как Германия в 1945 была совершенно разгромлена, здесь не мог, в отличие от 1918 года, появиться миф о «непобежденной на поле боя нации», у которой, якобы, в последнюю минуту была украдена победа. После разгрома третьего рейха не возникла в Германии, в отличие от эпохи после Первой мировой войны, также и зловещая легенда об «ударе ножом в спину», так как оппозиционные группировки, которые, согласно авторам этой легенды в 1918, якобы, предали страну, в 1945 не существовали. Они были разгромлены нацистами уже в 1933 году, сразу же после их прихода к власти. В 1945 году никто также, в отличие от 1918 года, не сомневался в том, кто является главным виновником войны. Берлинский историк Генрих Август Винклер пишет: «Тот факт, что главная ответственность за войну лежит на руководстве Третьего Рейха, был так очевиден, что легенды о якобы ни в чем не виноватой Германии не могли охватить массы»[21]. Таким образом, вторая немецкая демократия могла развиваться без балласта мифов и легенд, которые в свое время отравляли политическую культуру Веймарской демократии и привели в конечном итоге к ее уничтожению.

Главным уроком, который создатели второй немецкой демократии извлекли из поражения первой, заключался в их выводе, что демократия должна уметь себя защищать. Член парламентского Совета, который разрабатывал Основной Закон будущей демократической Германии, социал-демократ Карло Шмид, говорил в сентябре 1948 года о нетерпимости, которую демократия должна проявлять по отношению к тем, кто использует демократические свободы для того, чтобы уничтожить демократию, а коллега Шмида из партии ХСС, Швальбер, критико-

[20] Цит. по: Thamer H.-U. Verführung und Gewalt: Deutschland 1933-1945. Berlin, 1986. P. 760.
[21] Winkler H.-A. Der lange Weg nach Westen. Vol. 2. München, 2002. P. 122.

вал Веймарскую конституцию за то, что она врагам свободы давала чуть ли не больше свобод, чем ее защитникам, что в конце концов и привело к уничтожению немецкой демократии легальным путем[22].

Стоит здесь вспомнить слова Федора Степуна, эмигрировавшего в 1922 в Германию, который уже в 1934 году, будучи свидетелем поражения Веймарской республики, пришел к тем же выводам, которые сформулировали 14 лет спустя авторы немецкого «Основного Закона». Степун писал: «Демократия ... должна быть лишь *демократией для демократов*. Против ханжества своих врагов ей приличествуют все формы действенной самообороны. Нельзя забывать, что демократия обязана защищать не только свободу мнения, но и *власть свободы*. Если эта власть не защитима словом, то ее надо защищать мечом. Это, по нашему времени, положения элементарные и очевидные»[23].

Вернемся к России. После прихода к власти большевики были уверены, что им удастся мгновенно преодолеть буржуазные порядки и построить новое, никогда еще не существовавшее общество. Троцкий в своих воспоминаниях рассказывает, что Ленин в первое время после прихода большевиков к власти неоднократно заявлял: «Через полгода у нас будет социализм, и мы станем сильнейшим государством на земле»[24]. Подобно Марксу и Энгельсу, Ленин искренне восхищался эффективностью капиталистической системы. Созданные этой системой структуры (Ленин называл их аппаратами) основатель большевистской партии считал своего рода нейтральными объектами, вполне пригодными для использования и в «социалистическом государстве». Незадолго до захвата большевиками власти Ленин писал: «(Этот аппарат) надо вырвать из подчинения капиталистам ... Его надо подчинить пролетарским Советам. ... Крупные банки есть тот "государственный аппарат", который нам нужен для осуществления социализма и который мы берем готовым у капитализма, причем нашей задачей является здесь лишь отсечь то, что *капиталистически уродует* этот превосходный аппарат»[25]. Декретом от 14.12.1917 о национализации банков и учреждении Госбанка этот замысел Ленина большевики начали претворять в жизнь.

К 28 июня 1918 года все крупные предприятия были национализированы, 21 ноября правительство национализировало практически всю внутреннюю торговлю. Контролируемое государством распределение товаров должно было заменить рынок, который для ортодоксальных марксистов всегда был бельмом на глазу. Левобольшевистский экономист Осинский писал осенью 1918 года: «Рынок – это очаг заразы, из которого постоянно просачиваются возбудители болезни капитализма. Контроль над механизмом общественного обмена сделает невозмож-

[22] Winkler H.-A. Der lange Weg nach Westen. Vol. 2. München, 2002. P. 132-133.
[23] Степун. Сочинения. С. 501.
[24] Trockij L. Über Lenin: Material für einen Biographen. Frankfurt/Main, 1964. P. 106.
[25] Ленин. ПСС. Т. 34. С. 107.

ным спекуляцию, накопление нового капитала, возникновение новых частных собственников»[26].

Таким образом, все более усиливающаяся с середины 1918 года экономическая диктатура отнюдь не была всего лишь временной мерой. Партия не просто реагировала на крах механизмов снабжения, но и активно действовала сама. Распад прежних структур понимался как шанс сформировать новые структуры согласно собственным идеологическим представлениям.

Борьба с либеральными моделями развития достигла в Советской России кульминации к началу тридцатых годов. После победы в гражданской войне большевикам пришлось отказаться от попытки немедленно воплотить в жизнь коммунистическую утопию. Мятежи против системы военного коммунизма приобрели в то время масштабы чуть ли не новой гражданской войны. Последним предупреждением для большевиков стало восстание кронштадских матросов. Еще в дни восстания Ленин заявил, что диктаторские меры в экономике были обоснованными только во время гражданской войны. Теперь война окончилась и продолжение этой политики более не оправдано: «Пока мы не переделали (крестьянство), пока крупная машина его не переделала, надо обеспечить ему возможность свободы хозяйничать»[27]. Была провозглашена Новая экономическая политика. Объекты ненависти ортодоксальных марксистов – частная собственность и свободный рынок – были частично реабилитированы.

Итак, намерение осуществить общественную утопию с первого раза не удалось. Однако эта утопическая идея отнюдь не перестала вдохновлять партию. Победив в гражданской войне, большевики осуществили только политическую часть своей программы – теперь партия обладала неограниченной монополией власти в государстве. Но в стране, где огромное большинство населения составляли крестьяне, эта всевластная партия представляла собой не более чем кучку людей. Не существовало сколько-нибудь значительного социального слоя, на который партия могла бы опереться. Большевики же мечтали о приумножении и укреплении класса, от имени которого они правили, и о возобновлении «социалистического наступления», приостановленного в 1921 году. Особенно после крушения надежд на всемирную революцию, в частности после так называемого немецкого Октября 1923 года, партии требовались новые масштабные задачи.

Пробил час Сталина. Нереальной мечте о мировой революции Сталин противопоставил реалистическую на первый взгляд концепцию «построения социализма в одной отдельно взятой стране». Выяснилось, что за «мягкие» годы НЭПа большевизм отнюдь не растерял своей воинственности. Его волюнтаристски-утопический потенциал в двадцатые годы не был израсходован. Именно к этому потенциалу теперь апеллировал Сталин. Большевистское руководство вновь попыталось посредством массового террора подогнать под свою доктрину социаль-

[26] Pipes R. Die Russische Revolution. Vol. 2. Berlin, 1992. P. 572.
[27] Ленин. ПСС. Т. 43. С. 29.

ную действительность. На этот раз, однако, у крестьян решили отнять не только продукты их труда, но и всю их собственность. Так был аннулирован один из важнейших результатов большевистской революции – радикальная земельная реформа 1917 года. Георгий Федотов говорил в 1930 году: то, что ныне происходит в России, – не продолжение Октябрьской революции, а новая революция, цель которой отменить провозглашенный в Октябре *Декрет о земле*[28].

Сопротивление крестьян было отчаянным. Но в противостоянии тоталитарному государству, где господствующая верхушка сосредоточила в своих руках не знавшую прецедентов власть, у них не было шансов на успех. Задача, которая многим казалась неосуществимой, – экспроприация ста с лишним миллионов крестьян – была выполнена. Бесчеловечность, с которой проводилась коллективизация, не могла коснуться одних лишь крестьян, – она неизбежно должна была распространиться и на другие слои населения. Ближайшей жертвой коллективизации стали те, кто сыграл в ее осуществлении решающую роль.

Существенной чертой сталинистской системы было то, что ее создатель не доверял не только контролируемым – подчиненному обществу, – но и самим контролерам – всевластному партаппарату. Отсюда и кампания по частичному уничтожению коммунистической элиты, которая была подлинным базисом этой системы. Сталин, судя по всему, считал свой режим стабильным и надежным лишь при условии, когда никто из власть имущих не мог чувствовать себя уверенно.

Об организованном сопротивлении тирану со стороны партийной олигархии не могло быть и речи. Большевики, ставшие жертвами Сталина, как правило, считали себя связанными возникшим в ленинские времена «большевистским кодексом чести». Этот кодекс запрещал применять насилие по отношению к противникам внутри партии. Правда Ленин характеризовал диктатуру пролетариата как ничем не ограниченную, не связанную никакими законами и никакими правилами власть. Внутри партии, однако, большевики в ленинский период соблюдали определенные правила игры. При всей своей исключительной жесткости внутрипартийная дискуссия, как правило, не выходила за рамки словесных баталий. Большинство большевиков осталось верным этой традиции и во время Большого сталинского террора. Отступление от «большевистского кодекса чести» они и теперь считали недопустимым – в то время как для Сталина в борьбе с партийными соратниками не существовало никаких табу. Троцкистка Сафонова, случайно пережившая террор тридцатых годов, вспоминала: «Мы отрицали террор как принцип, не предпринимали ни единой попытки [террора в борьбе против Сталина]»[29].

Трагическая участь большевиков, ставших жертвами Большого террора, не снимает с них ответственность за сталинский деспотизм. Путем насилия они собирались построить социалистический рай на земле. Вместо рая они создали си-

[28] Федотов Г. Проблемы будущей России // Современные записки. 1930. № 43. С. 406-437.
[29] Феофанов Ю. Мы думали, что так надо // Неделя. 1988. № 41. С. 11.

стему, которую российский философ Анатолий Бутенко в годы горбачевской перестройки охарактеризовал как «ад на земле». И такое развитие событий отнюдь не было чем-то непредсказуемым. Террор породил террор и «революция пожрала своих детей».

Так революционный идеал, которому радикальная русская интеллигенция беззаветно служила на протяжении целого столетия, был дезавуирован именно тем политиком, который, по мнению огромной массы коммунистов, не исключая многих прежних скептиков и критиков, был «величайшим стратегом революционной борьбы» и «олицетворением партийной воли и разума» – Иосифом Сталиным.

После смерти Сталина выяснилось, что не только национал-социалистическая, но и сталинская система была тесно связана с личностью вождя и пережить его у нее было мало шансов. Буквально через несколько дней после смерти диктатора его ближайшие соратники, «послушные исполнители», приступили к постепенному, робкому демонтажу сталинской системы. Спустя месяц после кончины диктатора не кто иной, как многолетний руководитель сталинских органов террора Лаврентий Берия выступил против применения органами госбезопасности «изуверских методов допроса» и запретил пытки. Осуждению подвергся не только произвол органов террора, но и культ личности вождя. На пленуме ЦК в июле 1953 г. глава советского правительства Георгий Маленков говорил: «Вы должны знать, товарищи, что культ личности т. Сталина в повседневной практике руководства принял болезненные формы и размеры. Методы коллективности в работе были отброшены, критика и самокритика в нашем высшем звене руководства вовсе отсутствовали. Мы не имеем права скрывать от вас, что такой уродливый культ личности привел к безапелляционности единоличных решений и в последние годы стал наносить серьезный ущерб делу руководства партией и страной»[30].

XX съезд КПСС в феврале 1956 года, на котором произошло «посмертное свержение тирана», положил начало процессу, который, несмотря на все попытки реставрации спохватившейся верхушки, уже нельзя было остановить. Этот процесс вел к постепенному отходу страны от революционного, классово-антагонистического особого пути, на который она вступила в 1917 году. Часть российской общественности дистанцировалась от господствующей с 1917 года этики классовой борьбы и повернулась лицом к универсальным ценностям, таким, как права человека. Это в первую очередь относится к сформированному в шестидесятые годы правозащитному движению. Конечно, это движение не сумело оказать влияния на широкие слои населения, оно осталось изолированным даже в среде самой интеллигенции. Тем не менее, правозащитникам удалось основательно изменить политическую культуру в СССР. В несвободной стране они действовали, по словам одного из ведущих диссидентов Андрея Амальрика, как свободные люди.

[30] Цит. по: Правда. 3 января 1991. С. 5.

Они снова ввели в обиход такое запрещенное понятие, как «оппозиция»[31]. Единоборство маленькой группы советских правозащитников с автократическим государством на первый взгляд напоминает противостояние революционной российской интеллигенции российскому самодержавию в XIX – начале XX веков. Однако многие правозащитники сознательно дистанцировались от своих предполагаемых предшественников, во всяком случае, от их идеологии. Представители правозащитного движения отвергали типичную для старой интеллигенции идеализацию революции, и отказались от методов насильственного достижения «благих целей». В отличие от прежней революционной интеллигенции они стремились не к построению земного рая, но к восстановлению действующих в современном мире общечеловеческих норм и ценностей. Напрямую достичь своих целей им не удалось, все их организационные структуры были разгромлены к концу семидесятых – началу восьмидесятых годов. И все же они победили. Об этом свидетельствует то, что провозглашенное Михаилом Горбачевым «новое мышление» во многих пунктах – осознанно или нет – опиралось на разработанные правозащитниками принципы. Тем самым Генеральный секретарь ЦК КПСС невольно совершил одно из крупнейших преобразований в истории XX века. Ибо «мораль классовой борьбы», сердцевина коммунистической идеологии, никак не согласовалась с декларируемым Горбачевым «приоритетом общечеловеческих ценностей»[32]. Господствующая прежде коммунистическая иерархия ценностей была расшатана, а вместе с ней и весь политический фундамент прежнего государственного строя. Начался постепенный «возврат России в Европу» – с многочисленными отступлениями, тернистый путь страны к «открытому обществу».

Победившая после неудавшегося коммунистического путча в августе 1991 г. ельцинская команда не стремилась к расправе над побежденными по большевистскому образцу. Хотя КПСС и была запрещена, но российским коммунистам вскоре вновь была предоставлена возможность вернуться на политическую сцену. Компромисс, лежащий в основе системы, созданной после августовских событий, был явно подготовлен горбачевским отказом от мышления в категориях классовой борьбы, что в свое время вызвало крайнее негодование многих коммунистов. Первый председатель созданной в июне 1990 г. Российской компартии Иван Полозков считал, что недооценка классовых противоречий лишила партию ее важнейшего методологического инструмента и политически разоружила широкие массы коммунистов. Однако когда в августе 1991-го г. коммунисты потерпели сокрушительное поражение, тот факт, что победители отказались от ленинского «кто кого?», т.е. действовали уже по образцу, созданному горбачевским «новым мышлением», спас побежденных от антикоммунистического реванша, которого многие так опасались.

---

[31] Amalrik A. Aufzeichnungen eines Revolutionärs. Berlin, 1983. P. 44-52.

[32] Горбачев М. Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего мира. М., 1987. С. 149.

Отказ от идеологии классовой борьбы был временным отказом России от «особого пути», на который она вступила вследствие октябрьского переворота 1917-го года. После распада Советского Союза дискурс об особом пути России возобновился. Однако его анализ выходит за рамки данного очерка.